

Евгений Шварц

Позвонки минувших дней

из дневников



ФТМ

УДК 82/821

ББК 84(2)

Шварц, Е.

Позвонки минувших дней: из дневников: Автобиографический роман / Евгений Львович Шварц. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2022. — 568 с.

ISBN 978-5-521-74868-6

Евгений Львович Шварц (1896–1958) — один из лучших советских драматургов, автор знаменитых пьес «Обыкновенное чудо», «Тень», «Дракон», — при жизни редко видел свои творения на сцене: в безобидных, казалось бы, сказках власть усматривала едкую сатиру на государственный строй. В его дневниках, которые с полным правом можно назвать одновременно и романом, и мемуарами, без прикрас рассказывается о собственной жизни и о десятках близких и знакомых писателю людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, В. Шкловском, М. Слонимском и др.

На страницах автобиографического романа «Позвонки минувших дней» читатель встретится с умным, тонким, доброжелательно открытым и в то же время ироничным Евгением Шварцем, иногда — беспощадным критиком и всегда тонко чувствующим движения человеческой души.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

© Текст. Е. Л. Шварц,
наследники, 2021

ISBN 978-5-521-74868-6

© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

Позвонки минувших дней. Из дневников



I

Флюгер, а на флюгере петух.
Полукруглые ступеньки. Это вход в клинику.
Длинная, деревянная, во весь вагон ступенька. Конка.

Высокая палуба парохода. Я сижу у мамы на коленях.

Мы смотрим в окно и говорим о флюгере. Мы с мамой идем в клинику, о которой я слышу часто. Мы с мамой садимся на конку. А теперь едем на пароходе по Волге. У берега напротив бежит маленький буксирный пароход, который вызывает у меня братские чувства, мне кажется, что он тоже мальчик, и мы с мамой смеемся ласково.

Я всегда знаю, когда я в Казани, когда в Екатеринодаре, когда в Рязани.

Я в Екатеринодаре. Стою у кирпичной стены. Светит солнце. Возле меня не мама, а нянька Христина. «Сколько тебе лет?» — спрашивают меня. И я отвечаю: «Два года». Мы много переезжали — вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.

Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые почему-то считал собственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне дет-

ское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником. Мне и теперь непонятно, когда меня спрашивают, не мешают ли мне поезда, которые проходят довольно близко от нашей дачи. Не мешают, а радуют, особенно когда слышу их сквозь сон.

Что еще я помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне «Ниву»¹ в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы». Это были, как я понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама² и сказала: «Не пугайся, мы поедем кататься». Это, очевидно, 98-й или 99-й год³, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним. Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! — говорит мать. — Полицейский заберет». — «А вон полицейский», — говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя по рассказам знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма...

Помню имение, где отец после освобождения из тюрьмы служил врачом. Вероятно, хозяева были греки. Одного из них звали Папа Капитонович, что поразило меня. Я полагал, что папа один.

¹ «Нива» — еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал. Издавался в Петербурге в 1870–1918 гг.

² Шварц (урожд. Шелкова) Мария Федоровна (1875–1942).

³ Лев Борисович Шварц по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани был арестован в 1898 г.

Здесь мы собирались к обеду за большим столом на террасе. Помню, идет отец — высокий, чернобородый, в сапогах. В руках у него ружье — он вышел стрелять ястреба. Помню, здесь впервые меня пронзило чувство жалости: куда-то ехали кататься, и мама вдруг отказалась. И кто-то маленький, черненький, вероятно один из братьев, владельцев имения, сказал печально: «Вот тебе и раз...» Отсюда мы уехали тоже неожиданно, как из Дмитрова. На этот раз отец поссорился с кем-то из владельцев. Почему — так и не сказал мне, хотя я спрашивал его об этом уже в тридцатых годах. Из имения мы поехали — очевидно, в ожидании нового места — в Екатеринодар, в одну из тех квартир, которые мне смутно запомнились. У родителей отца мы в те времена не жили. Мама ссорилась с бабушкой. Смутно припоминаю и одну из таких ссор. Приключилась она, как видно, рано утром, потому что все были в ночном белье — и мама, и бабушка, и сестра отца, тетя Феня. Помню явление, имевшее свое точное название и в моем представлении столь же обыденное, как дождь или ветер: «У бабушки истерика». Помню и самую истерику, которую видел однажды: бабушка, окруженная сыновьями, которые ее уговаривают и утешают, вертится на месте, заткнув уши, ничего не желая слушать, повторяя: «Ни, ни, ни, ни!» Я потом играл в бабушкину истерику. Деда того времени забыл. По воскресеньям отец водил меня обедать к своим родителям. Помню, как однажды ни с того ни с сего я отказался идти обедать к старикам. Почему? Отец страшно вспылил, больно дернул меня за руку, но я не сдался. Впоследствии я придумал объяснение: не хочу идти к бабушке и дедушке потому, что там повязывают салфетку, которая меня душит. Но это была чистая ложь. Почти столь же отрывочно, как Екатеринодар, помню Рязань и дачу возле Рюминой рощи. Сюда я ездил с мамой на ее родину, к ее родителям¹...

¹ Дед Е. Шварца с материнской стороны — Федор Шелков. Имя бабушки не сохранилось в архивах.

Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пиявки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я заходил в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфты с двумя ручками, и дед и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорожденного у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен носить русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование. А у него было много детей: Гавриил, Федор, Николай, Александра, Мария и Зинаида. Имя еще одной сестры забыл. Кажется, Вера или Катя. Она жила не в Рязани — с мужем, и я мало знал ее...

Все не хочется отрывать от воспоминаний самых ранних лет. Отрывочные эти воспоминания радуют, а между тем самое раннее мое детство было полно физических мучений. То, что теперь называют диатезом, а тогда — экземой, мучило меня до двух лет. Боялись, что у меня не вырастут волосы. От диатеза, по тогдашним медицинским законам, закармливали меня яйцами всмятку, отпаивали коровьим молоком и мазали цинковой мазью. Любопытно, что яйца и молоко, как утверждают ныне, вызывают диатез, а не излечивают. Кроме того, меня постигло еще одно горе — гнойное воспаление лимфатической железы за ухом. Я кричал недели две-три, пока профес-

сор-педиатр не поставил диагноз. Меня оперировали без наркоза. Но я не помню операции, боли, крика, которым не давал спать всему дому полмесяца. О диатезе же запомнил одно — нежные мамины пальцы накладывают прохладную цинковую мазь на голову и за уши. Мне кажется, что я был счастлив в те дни, о которых вспоминаю теперь. Во всяком случае, каждая минута, которая оживает ныне передо мной, окрашена так мощно, что я наслаждаюсь и ужасаюсь поначалу, что передать прелесть и очарование тогдашней краски — невозможно. Вот я стою в кондитерской, вечером, в тот отрезок жизни, когда мы жили в комнате, где я познакомился с голодающими индусами. Не знаю, что мне нравится в этом воспоминании. Но до сих пор, зайдя в кондитерскую вечером, я иногда вдруг погружаюсь на одно мгновение в то первобытное, первоначальное, радостное ощущение кондитерской, которое пережило по крайней мере пятьдесят лет — и каких еще лет.

Из отрывочных воспоминаний — забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них — в короне. «О духи, духи!» — кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише, имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось. Помню репетицию любительского спектакля (это уже в Рязани). Маленькая сцена, на ней много народа. Все больше женщины, я теряюсь среди длинных юбок. Помню спектакль «Волшебная флейта». Мама села где-то позади, а меня усадили в первом ряду. Когда героя стали вязать, я заорал «Мама!» и побежал по проходу, чтобы найти ее. Помню, как раздвинулся куст, впрочем, больше похожий на шкаф, и в нем обнаружилась флейта. Больше ничего не помню. На даче

в Рязани я помню старую прислугу Марьюшку, у которой был сын Васька, мой ровесник. Все его бранили: непослушный, дерзкий, неумный. Однажды я забежал на кухню. Васька, только что вымытый, с чистыми волосами, сидел на подстилке где-то высоко. Почему-то мне кажется, что на столе. «Будешь кушать кашу, Васютка?» — спросила Марьюшка ласково. И Васька отвечал: «А как же!» Меня потрясло, как это Марьюшка разговаривает нежным голосом с общепризнанным преступником! Вечер. Мы пьем чай не на террасе, а в саду у кустов. И вдруг замечаем, Васька крадется по поляне, хочет без спроса уйти куда-то. Бабушка окликает непослушного, и он исчезает в ужасе.

Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах — и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99–900-й годы. Мне четыре года. Вначале мы живем у священника. Имени его не помню, но помню твердо, что старшие относятся к нему хорошо. Для меня это непреложный закон. Если хорошо — то и для меня он хорош. Вторым другом — приятель старших — учитель Гурий Федорович. Этого я просто обожаю и радуюсь, когда он приходит к нам. Затем бывает у нас ветеринар с двумя дочками моих лет и с грудным ребенком. Он вспоминается мне в мундире — легенький, маленький, а жена крупная и полная. Затем есть тут Ромащук. Он, кажется, полицеймейстер. Его считают хорошим человеком, а в Майкопе, куда его переводят в 907-м году, — негодяем. Очевидно, в обществе все тихо, мирно, если у молодого врача встречаются в гостях священник, полицеймейстер, учитель. Кто еще бывает у нас? Человек очень хорошо одетый, с усами, плотный. Все зовут его Дрейфус, потому что он представитель экспортной компании «Дрейфус», вывозящей хлеб. Когда

начинаются разговоры о «деле Дрейфуса»¹, то мне кажется, что речь идет о нашем знакомом. Я обожаю его пса, сеттера, который отлично выдрессирован: умеет снимать с хозяина шляпу, «умирать», подавать калоши и нажимать кнопку звонка. Так пес и делает, когда самостоятельно, без хозяина, приходит ко мне в гости. Мы сразу узнаём, что пришла собака, по ее в высшей степени продолжительному звонку. Во дворе у священника живут ручные журавли. Один из них отличает своих от чужих. Помню, как погнался за нами этот журавль, когда мы с мамой шли через двор. Мы вбежали в коридор и долго смеялись. Вообще мама в это время нашей жизни весела. Она шутит, смеется и даже шалит не только со мной, но и с подругами. Я вижу, как она умеет их рассмешить, — я радуюсь.

В этот период жизни мама была весела и ласкова. Когда я иной раз, чтобы утешиться, мечтаю о том свете, то представляю маму именно того времени — веселую, молодую, она встречает меня в раю, чуть наклонившись, глядя вниз, как глядела на меня маленького. Я считал маму красавицей и удивлялся, что она смеется, когда я говорю ей это. Мы были необыкновенно дружны в те дни. Иной раз она называла меня Женюрочкой, что я очень любил. Я считал, что на одной фотографии я изображен именно в качестве Женюрочки. К сожалению, эта фотография пропала, и мне трудно теперь понять, почему я так думал. Когда мама была недовольна мною, то заявляла, что ее сейчас унесет ангел, — и исчезала. Я метался в страхе по комнатам — в каком страхе! Я до сих пор не люблю,

¹ В 1894 г. офицер французского генерального штаба А. Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, суд приговорил его к пожизненному заключению. В защиту Дрейфуса выступил Э. Золя, которого поддержала французская общественность. Борьба вокруг сфабрикованного дела привела к политическому кризису. Под давлением демократических сил страны в 1899 г. Дрейфус был помилован и в 1906 г. реабилитирован.

когда кто-нибудь из близких, шутя, прячется от меня или теряется в магазине или в толпе. На мгновение меня ударяет тот, прежний, ужас, как будто маму опять уносит ангел. Обычно мама обнаруживалась, когда я начинал громко плакать. Иной раз я сам находил ее в шкафу или за дверью, и выяснялось, что ангел уронил ее именно сюда. Я часто болел — то ложным крупом, то ангиной, то бронхитом. Папа никогда не лечил своих. Ко мне приходил маленький, круглый и добрый доктор Шапиро. Он предписал обливать мне на ночь ноги холодной водой и ходить круглый год в носках. Помню, как мама обливает мне ноги водой из графина и я хохочу и кричу — мне и холодно, и весело. У Шапиро тоже есть дети, но я с ними не знаком. Один раз мы встречаем его на улице с сыном — маленьким черненьким мальчиком, у которого заплаканное лицо. Шапиро отвечает на вопрос мамы: «Никак не может успокоиться, видел, как курицу зарезали». Взрослые улыбаются грустно, а я смотрю на мальчика сочувствуя. Я сам был потрясен недавно подобным зрелищем.

Однажды я проснулся ночью и увидел, что мама молится, стоя на коленях и кланяясь в землю. У нас была единственная икона, которой благословляли маму перед свадьбой, — Богоматерь с младенцем, в серебряной ризе. Эта икона почему-то не висела в углу, а стояла в книжном шкафу, в том месте, где не хватало стекла. И вот перед этой иконой и молилась мама. Когда много лет спустя я вспоминал за столом вслух при отце раннее детство (я тогда был примерно в пятом классе реального училища) и рассказал, как молилась мама, она повернулась ко мне и показала украдкой язык, то есть назвала меня без слов болтуном. Отец спросил мать с удивлением: «Это действительно было?» И она ответила, не глядя на отца: «Да ерунда, путает он что-то». О чем она молилась? Судя по тому, что икона стояла в книжном шкафу, мы еще жили у священника, где было тесно и где мы, очевидно, остановились на время. Но